



## Л. СТРАХОВСКИЙ

### О Гумилеве (1886—1921)

Двадцать пятого августа тысяча девятьсот двадцать первого года был расстрелян Николай Степанович Гумилев, один из прекраснейших русских поэтов, приведший русскую поэзию опять к чистоте, простоте, точности и ясности после ее засорения туманностями символистов. Он был арестован по делу так называемого Таганцевского заговора и наверное был бы отпущен, как учитель многих пролетарских поэтов в рабочих клубах, если бы он вызывающе не заявил на первом же допросе, что он — монархист. Из тюрьмы, когда он уже был уверен в своей участи, он писал своей жене: «Не беспокойся обо мне, я чувствую себя хорошо; читаю Гомера и пишу стихи». А первого сентября в газете «Петроградская правда» на первой странице в списке расстрелянных по делу заговора, значилось: «Гумилев Н. С., тридцати трех лет (на самом деле ему было 35 лет — Л. С.), филолог и поэт, член правления издательства «Мировая литература», беспартийный, бывший офицер. Участвовал в составлении прокламаций. Обещал присоединить к организации группу интеллигентов в момент восстания. Получал деньги от организации для технических надобностей»<sup>1</sup>.

О Гумилеве-поэте писали многие. Его стихи магнетизируют. Помню, как юношей я купил в книжном магазине Вольфа на Невском проспекте в Петербурге книжку мне тогда неизвестного поэта, озаглавленную «Романтические цветы». Вернувшись домой на Каменный остров, я начал ее читать. Все сильнее и сильнее стихи ее меня захватывали. И вдруг две строчки прямо пронзили меня, и дух захватило:

Далеко, далеко на озере Чад  
Изысканный бродит жираф<sup>2</sup>.

Это была моя первая «встреча» с Николаем Степановичем. После этого я продолжал «знакомство», покупая все его сборники

стихов в меру моего ограниченного бюджета и читая его стихи в «Аполлоне», на который подписывалась моя тетушка, София Михайловна Ростовцева. А настоящая встреча и краткое знакомство произошли гораздо позже, и именно на литературном утреннике (в 2 часа дня!) в зале Тенишевского училища, организованном обществом «Арзамас». Привел меня туда поэт Георгий Иванов. Было это в начале мая 1918 г. Большевики властвовали уже более полугода, но Петербург, посеревший, полинявший, с пыльными, засоренными улицами был прекрасен, как всегда, в эту памятную мне весну.

На утреннике выступали как видные, так и начинающие поэты. Среди последних особенно помню Леонида Канегиссера<sup>3</sup>, в форме вольноопределяющегося, с бледным, красивым, чуть семитическим лицом. Кто мог бы предположить, что еще до конца лета он застрелит чекиста Урицкого и умрет мученической смертью? Первая часть утренника закончилась первым публичным чтением поэмы Блока «Двенадцать», эффектно продекламированной его женой, которая выступала под своей сценической фамилией: Басаргина<sup>4</sup>. По окончании этого чтения в зале поднялся бедлам. Часть публики аплодировала, другая шикала и стучала ногами. Я прошел в крохотную артистическую комнату, буквально набитую поэтами. По программе очередь выступать после перерыва была за Блоком, но он с трясущейся губой повторял «Я не пойду, я не пойду». И тогда к нему подошел блондин среднего роста с каким-то будто утиным носом и сказал: «Эх, Александр Александрович, написали, так и признавайтесь, а лучше бы не написали». После этого он повернулся и пошел к двери, ведшей на эстраду. Это был Гумилев.

Вернувшись в зал, который продолжал бушевать, я увидел Гумилева, спокойно стоявшего, облокотившись о лекторский пюпитр, и озиравшего публику своими серо-голубыми глазами. Так, вероятно, он смотрел на диких зверей в джунглях Африки, держа наготове свое верное нарезное ружье. Но теперь его оружием была поэзия. И когда зал немного утих, он начал читать свои газеллы, и в конце концов от его стихов и от него самого разлилась такая магическая сила, что чтение его сопровождалось бурными аплодисментами. После этого, когда появился Блок, никаких демонстраций уже больше не было.

По окончании утренника Георгий Иванов познакомил меня с Гумилевым. Узнав, что я пишу стихи, Николай Степанович предложил мне прогуляться с ним. Мы пошли по Летнему Саду. Был весенний, хотя все еще прохладный день. Солнце пробивалось сквозь деревья, опущенные молодой листвой, и ложилось свет-

лыми бликами на белый мрамор статуй, на желтый песок аллеи и на чуть пробивающуюся траву. Мы представляли довольно странную пару в большевистском Петербурге. Я «донашивал» лицейскую форму. На мне была лицейская фуражка, и одет я был в черное пальто с золотыми пуговицами, на которых сияли двуглавые орлы, а на Гумилеве было элегантное пальто английского покроя и фетровая шляпа. Он ведь еще недавно вернулся из Англии.

Гумилев попросил меня прочесть свои стихи, и я прочел одно, как сейчас помню, начинавшееся следующими строками:

Твой портрет в деревянной раме  
Смотрит вдумчиво со стены.  
Ах, стихи о Прекрасной Даме  
Не тебе ли посвящены?

Когда я кончил, Гумилев сказал: «Хорошо. Запоминаются». И повторил первую строфу. «Но почему “Прекрасная Дама”?» — добавил он с улыбкой. «Лучше бы Беатриче или Ленора». Тем не менее, я был на седьмом небе и сейчас уже не помню, как закончилась наша прогулка, что еще Гумилев говорил, и как мы расстались. Вскоре после этого я бежал из красного Петербурга на Мурманск и больше уже никогда Гумилева не видел. Но эта личная встреча и «акколада» мастера, давно уже почти боготворимого мной, запомнилась на всю жизнь так ясно и рельефно, как будто это случилось только вчера.

Свое замечательное стихотворение «Вступление» к сборнику «Шатер», как известно, целиком посвященному Африке, Гумилев закончил следующей строфой, в которой он обращался к Богу:

Но последнюю милость, с которою  
Отойду я в селенья святые,  
Дай скончаться под той сикоморою,  
Где с Христом отдыхала Мария.

Но судьба была жестока к Гумилеву. Его конец — пуля чекиста в затылок и безвестная могила. Глубочайшая трагедия русской поэзии в том, что три ее самых замечательных поэта кончили свою жизнь насильственной смертью и при этом в молодых годах: Пушкин — тридцати семи лет, Лермонтов — двадцати шести, и Гумилев — тридцати пяти.

